

18+

Андрей Ветер

Между
ТИШИНОЙ
И ШУМОМ



Андрей Ветер

Между тишиной и шумом

«Издательские решения»

Ветер А.

Между тишиной и шумом / А. Ветер — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859425-0

Память вовсе не является надёжным хранилищем информации и она предательски изменчива. Память меняется даже быстрее, чем всё, что нас окружает. Память податлива настроению, податлива чужим речам, податлива всему вокруг. Если не вспомнить о чём-то сегодня, то однажды может настать момент, когда об этом вспомнить не получится вовсе, потому что память затворит двери и не пустит туда, где живёт наше прошлое. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-859425-0

© Ветер А.
© Издательские решения

Содержание

Из записной книжки	6
Родительский дом	27
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Между тишиной и шумом

Андрей Ветер

© Андрей Ветер, 2020

ISBN 978-5-4485-9425-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Из записной книжки

*«Каков бы ни был ты, – и нет здесь исключения! —
Ты – тоже человек. Без самоунижения
Вглядишься в себя, – и сам ты скажешь. Что судьба
К тебе, ну, право же, не так была скупа!
Что много радостей, что и страданий много
Ты, как единственный, как сам, несёшь в себе,
Что жизнь твоя совсем не так уже убога...
И как тебе не быть признательным судьбе?»
(Иоганн Вольфганг Гёте)*

Мне пятьдесят четыре года, а я не уверен, что жил правильно. Не уверен, жил ли вообще.

Мне хочется обсудить это, но нет подходящих собеседников. Разговоры необходимы мне потому, что укрепляют мою веру, но мои вопросы отпугивают многих. Вопросы, без которых нет смысла жить, кажутся непонятными и бессмысленными моим так называемым друзьям. Это объяснимо: мой главный интерес лишён практической стороны – смысл бытия. Вокруг меня слишком много людей, которых интересуют только деньги, даже художников интересуют в первую очередь деньги. Вопрос о смысле жизни для них решён – это деньги. А вот для меня этот вопрос открыт.

Зачем я здесь? Что есть моя жизнь?

Подозреваю, что когда-то, в какой-то ключевой момент, я не совершил нужного поступка. Я не подозревал, что момент был ключевым и даже не чувствовал потребности в том поступке, который не совершил. Теперь же я вдруг осознал, что упущено главное. Упущен момент.

Был у меня и юношеский бред в литературе, и морализаторство человека, потерявшего себя, и эпические глыбы, вырубленные из скал истории для моего личного пользования. Было всё. И не было ничего. Ведь что у меня осталось от прошлого?

Кажется, мне удалось преодолеть многое, но не удаётся преодолеть мои сомнения. Они разрастаются. Я не справляюсь с этой громадиной. Моя жизнь – сомнения. Но раньше их не было, раньше я точно знал, что делать и в чём смысл.

Всё чаще во мне возникает желание прожить жизнь заново, по-новому. Это означает, что я могу вернуться сюда опять. Все прежние годы я был уверен, что никогда не вернусь на эту планету, ибо никакие соблазны человеческой жизни не способны заманить меня сюда. И вот оказывается, что главный соблазн – пропущенный ключевой момент, какой-то не свершившийся поступок. Вот в чём кроется механизм реинкарнации – найти ключевой момент для изменения судьбы.

Пишу это и всем существом испытываю недоумение и отчаяние. Неужели это произойдёт помимо моей воли? Неужели все вопросы и желания – это лишь формы предчувствия?

Мои сомнения исполнены спокойствия, они неподвижны и тем страшны вдвойне. Они похожи на тот безликий и бесформенный ужас, который заполняет сон не то тьмой, не то светом, не то пространством, не то отсутствием пространства. Ничего там нет, но всё заполнено ужасом. Так же и мои сомнения. Я бы убежал, но некуда. Прыгнул бы с крыши дома, будь у меня желание свести счёты с жизнью. Закричал бы, имей я хотя бы малейшую надежду на то, что крик принесёт облегчение. Но крик не даст ничего, а смерть вернёт в новую жизнь, к новым сомнениям.

Отдушина только в словах, в попытке переложить всё на слова, свалить на слова всю тяжесть непонятого. Пусть слова несут груз моего непонимания. Отдушина – от души ли? И что тут от души? Тут только боязнь самого себя.

Вы спрашиваете меня...

Нет, вы ничего не спрашиваете. Вы не в состоянии спросить, потому что вас нет. У вас нет вопросов ко мне, но у меня – океан вопросов к вам. Вы – чужие от А до Я. О чём бы я ни спросил вас, вы уваливаете. О чём бы ни попросил, вы отказываете молчанием. Мы живём на разных планетах. Но для чего ж мы тогда тут – рядом?

Чуждость жизни.

Даже мужчина и женщина, соединяясь в том, что называется любовью, не делаются одним целым. Стремление к одному не делает их одним. «Когда двое станут Одно...» – это никогда, пока мы живы. Надо умереть для этого. Но умереть так, чтобы не выпасть более из того, что есть Одно. Умереть без вопросов, ибо вопросы возвращают к жизни.

Земля должна признать мою жизнь как свершившийся факт, как оставленный след, как окончательную форму, не нуждающуюся в исправлениях. Как было, так и должно.

Мысли о пропущенном ключевом моменте, сомнения, – они ведь о сожалении говорят. Но во мне нет сожалений. Тогда что же? Откуда сомнения?

Спросить не у кого. Все солгут. Безразлично солгут. Чтобы уйти от вопроса – вот для чего солгут. Мы – чужие. Мы – декорация друг для друга.

Единственные друзья – слова. Они не спрашивают, они берут на себя и в себя. Они облегчают. Жизнь. День. Время. Участь.

Но слова меня обманули. Они прикинулись значительными. «Вначале было слово»... Разве оно появилось не в середине пути, не в конце? Или в начале пути было другое слово?

Слова заманили в свою сеть. Оплели паутиной, поглотили, сделали собой. Теперь я – слова. Ничего не осталось во мне, только слова.

А было ли что-то ещё? Только слова? Как мало!

Когда мои слова исчезают, мне хочется спрятаться, уснуть, нырнуть поглубже в сон, потому что я опустеваю. Пустота моя похожа на топь. Спасть, спать, спать... Выспаться и вынырнуть новым. Обновление? В новую ли жизнь? Или новым в прежнюю жизнь? Можно ли? Нужно ли?

Готические буквы моих мечтаний о рыцарских похождениях...

Как много крови на кропотливо выточенных завитках этих букв. Как много пыли на высохшей крови. Как много времени превращено в пыль.

В минуты слабости и сомнения я обращался к женщине. Молочный вулкан в её груди ввергал меня в детскую беспомощность, и я тянул ручонки к обнадёживавшему меня теплу. Я видел защиту в женщине. В ней можно утопить лицо своё, превратившись в сына. В ней можно утопить тело, превратившись в мужчину...

Я касался губами возлюбленной, и она заставляла меня трепетать, омывая волнами горячего лона...

И каждый раз, когда женское тело питало меня, я слышал вкрадчивый насмешливый голос кого-то невидимого: «Вот опять ты впутался в мои сети. Теперь ещё сильнее придавят тебя мясные глыбы груди, ног, рук. Поди, избавься...»

«Художник – это монах, девственник, часто имеющий облик распутника» (Михаил Пришвин).

Смотрю на женщин. Как много их! Но какие-то оставляют меня равнодушным, несмотря на их неоспоримую красоту, а какие-то пробуждают во мне чувства, коим я противостоять

почти не могу – желание прикоснуться к их лицу, прижаться к линии губ, к линии бедра – не к телу, а к рисунку тела, не поцеловать, не потрогать, а прижаться всем существом, чтобы впитать в себя эти линии. Нет, не о физиологии речь, тут что-то совершенно иное.

Таких мгновений не счесть. Точно так же хочется прижаться к линии гор, покрытых снегом. Хочется упасть в эти горы лицом. Хочется упасть лицом в лес, раскинувшийся передо мной на склоне холма, упасть в него, словно это мягкий мох. Хочется зачерпнуть музыку руками, омыться ею, испить её всем телом, заняться с музыкой любовью, словно она – женщина, и порой это сладостное томление лишает меня сил.

Жаль, что женщиной невозможно насладиться так, как этого жаждет душа.

Дитя своего времени и места. Сын своего города. Порождение каменных стен и мокрых бетонных улиц. Певец цементных лабиринтов.

А что плохого в том, чтобы быть певцом камней и железобетона? Каждый поёт о чём-то своём. Век-то наш чересчур уж суетный. Несутся все, никуда не поспевая, повсюду присутствуют по чуть-чуть. Книжки читают в транспорте. На разговоры времени не хватает, разве что в лифте застрянут – вот и беседуют.

Женщина: – Обнять тебя, растворить тебя, впитать в себя порами кожи и выпустить тебя обратно на свет, но уже моим ребёнком... хочу познать тебя ребёнком. Не от тебя кого-то ребёнком, а тебя – ребёнком. Питать тебя молоком из груди, вливать в тебя моё тело, возвращать, поднимать, как земля – всходы пшеницы.

Александр Блок писал Анне Ахматовой: «Много я видел сборников стихов авторов известных и неизвестных: всегда почти – посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне всё не нужно, и скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия, – что стихов я не люблю; следующая – что стихи, вообще, занятие праздное; дальше – начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да – то знаете, сколько во всём этом большого, лишнего груза». Это настроение преследовало Александра Блока, как он признавался, по причине, что он был «очень плох, ибо окружён болезнями и заботами».

Поскольку и я чувствую себя скверно, у меня схожее настроение. Но если Блок писал о стихах, то у меня это ощущение распространяется на всё искусство – что оно занятие праздное и ненужное. И всё чаще нет желания не только самому что-то делать, но и «потреблять» чужое. Всё уж давно высказано, все точки расставлены, все покровы сорваны, все истины открыты.

Но как только удаётся перебороть боль и усталость и выбраться куда-нибудь в музей или в театр, так непременно скользнёт тоненький лучик света по поверхности моей померкшей души.

До чего ж сильно человек зависит от своего физического состояния. Будет голова болеть у императора, так он и войну начнёт одним махом, просто с досады, от боли...

Джуань Цзы любил повторять слова своего учителя: «У того, кто применяет машину, дела идут механически. У того, чьи дела идут механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой природы, тот не твердится в жизни разума. Того, кто не утвердится в жизни разума, не станет поддерживать Дао».

Огненные крылья художника – это пламя его чувств, рвущееся наружу и возносящее его над другими. Но кто такие «другие»? Чувства важнее всего другого. Но что такое «другое»? Разве можно полностью вырвать себя из «других». Каждый из нас всегда полон другими людьми. Каждый из нас состоит из других. Мы все состоим из мозаики чужих поступков и чувств, но в каждом из нас эта мозаика складывается по-своему. Лишь поэтому мы неповторимы.

Битов писал, что ему нужны люди, чтоб двигаться дальше. «Без людей невозможен рост. Без людей не для чего. Люди – это среда, природа, они определяют задачи, которые необходимо решить. Люди – это события, история, созидания и разрушения. Через людей – вопросы».

Мы зависим друг от друга во всём. Даже отшельником человек становится из-за людей, из-за своего отношения к «другим».

Вся моя жизнь – моё произведение. Я создал и улицы, по которым бегал босиком в детстве, и людей, с которыми водил дружбу, и любовь... И только я могу притронуться к той жизни. Всё выдуманно, поэтому нет контакта с другими людьми.

«Когда в один дождливый вечер я столкнулся с Альфредом Перле, родилась дружба, скрасившая весь период моего пребывания во Франции. В Перле я обрёл человека, которому предстояло поддерживать меня во всех взлётах и падениях. Было в нём что-то, прямо скажем, хулиганское, что-то от „voyou“. Должен признаться, я склонен преувеличивать его недостатки. Впрочем, у него было одно достоинство, перекрывавшее все отрицательные качества: он умел быть другом. Порой мне даже казалось, он не умеет ничего другого» (Генри Миллер).

Да, вот о таком друге я всегда мечтал. Но я, по всей видимости, не заслужил этого счастья. Не удивлюсь, если дружба даётся как награда за что-то. Всё в нашей жизни не просто так: и потери и приобретения. Жаловаться, конечно, грех, ибо хороших людей вокруг меня много, и помощь всегда будет, если понадобится. Но такой дружбы, где глубина чувств могла бы сравниться с глубокой любовью к женщине (чтобы в огонь и воду и чтобы тоска в сердце при разлуке), – такой дружбы у меня не было и теперь уж, видимо, не будет.

Любой взгляд на жизнь – обман.

И теперь всякая мысль кажется мне нелепостью.

Легче удержать себя от неправильного, чем потом делать много правильных вещей, чтобы избавиться от последствия неправильных.

Трусость называет себя благоразумием, распущенность – свободой, хамство – честностью, глупость – наивностью, подлость оправдывает себя необходимостью борьбы за своё место под солнцем. И всё это вместе делает жизнь непоправимо бесчестной. И ничто не изменилось за многие века. Вот такие мысли нагрянули. Откуда они?

Мир, в котором я родился когда-то и начал жить, всё тот же, но декорации сменились. Мир прежний, с прежними интересами и страстями. Это угнетает. Тысячи лет за плечами человечества, а пьеса всё та же – секс, война, богатство. Персонажи являются всё те же, что и раньше, и твердят всё о том же.

Иногда мне кажется, что книга лежит где-то готовая, что она чуть ли не в моих ладонях, горстью насыпана в моих руках и что её не надо даже записывать, а надо лишь как-то одним махом ощутить, а потом – просто выдохнуть это ощущение. Но, чувствуя эту мою будущую книгу в моих ладонях, я всё-таки не могу никаким волшебством сделать её сразу готовой. Её – при всей её «готовности», при знании и «осязаемости» мельчайших деталей – всё же надобно написать от начала до конца. И когда я начинаю записывать её, она теряется, рассыпается, исчезает. А должна появляться.

Какое странное и невозможное физическое состояние, невыразимый духовный процесс – рождение книги.

Все пастыри обманывают паству. Нет правителей, заботящихся о своём народе. Народ – дойная корова. Когда корова перестаёт давать молоко, её убивают.

Пастыри всегда идут позади, иначе невозможно гнать стадо. Они не увлекают за собой, а гонят перед собой.

Рай – это любовь художника к тому, что он делает. Карандаш или краска – это инструменты сотворения рая.

Медитация есть отсутствие ожидания. Медитация есть нахождение внутри процесса.

В любую картину можно влюбиться, если не анализировать её, если не искать в ней ответа, а просто принять её краски и формы. Не понимаешь? А что понимать? Ты видишь, и увиденное тебя радует или не радует. Никакого понимания не должно быть. Понимание есть только при наличии мысли.

Жизнь – вовсе не мысль, не проявление мысли, но о жизни можно думать..

Многие знакомые давно перестали быть моими друзьями, с ними можно теперь даже не созваниваться. Им до меня дела нет, мне до них – тоже. Иногда некоторые звонят, и по их голосу понятно, что просто хотят узнать, жив я или уже нет, а если жив, то хуже мне живётся, чем им, или лучше. И что же? Зачем мне такие телефонные разговоры? А уж о встречах «во плоти» и вовсе речи нет. Пугают такие встречи стареющих людей, не желающих смотреть в глаза. Встретятся и – скорее к рюмке, чтобы спрятаться от неловкости и от действительности.

Не хочу видеть никого без любви, без желания, без глубокого интереса. Не хочу поверхностного и формального. Не хочу ничего «для галочки». Хочу захлёбываться восторженными разговорами, хочу смотреть в глаза собеседнику, хочу горячих объятий, хочу взаимного влечения.

Разве не обидно, что, рождаясь, мы не знаем, продолжением чего мы являемся?

Будь мы продолжением наших родителей, в нашей общей линии жизни была бы общая логика. Но логика, к сожалению, отсутствует, поэтому на неё невозможно опереться. Продолжение – это развитие, однако развития нет, всё топчется на месте.

Легко верить в то, чего рядом нет. Скажем, можно верить в воскресшего Христа и в то, что Лазарь восстал из мёртвых. Но невозможно поверить в то, что из мёртвых восстал родственник, о котором вам рассказывает какой-то ваш знакомый. Вот тут начинается почему-то включаться жёсткий рационализм.

«Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же» (Екклесиаст, гл.10).

Всматриваясь в мир, вижу, что глупые криком кричат глупости и это не губит их, зато губит целые народы. Сказать глупость – не так уж страшно для сказавшего, но этой глупостью питаются толпы. Миром управляют глупцы, а мудрецам нет места, мудрецов никто не слушает.

Если человека не устраивает окружающий мир, надо построить свой собственный мир.

Беда в том, что подавляющее большинство людей убеждено, что мир надо строить в прямом смысле слова: дома, проспекты, города, одежда, причёска, совершать революции, то есть изменять внешнее, в то время как мир человека – это то, что у него внутри.



Рисовать, сочинять книги, ставить спектакли, создавать фильмы и музыку. Внутренний мир не имеет границ, это единственное, что дано человеку для ощущения подлинной свободы

и подлинного счастья. Если кто-то не поймёт вас, не принимайте близко к сердцу, не огорчайтесь. Если кто-то не поймёт вас, это значит, что в вашу дверь не так легко войти: вы либо не пускаете никого, либо люди не знают вовсе о существовании вашего мира, либо они довольствуются тем, что у них есть. Разве можно осуждать кого-то за то, что он довольствуется тем, что у него есть?

У Андрея Губина в «Молоке волчицы» есть такие слова: «Она охотно пела слабеньким голосом, рассказывала всё, что довелось видеть, и только отказывалась говорить о себе и своей жизни, считая это неинтересным, – тоже думала, что всё интересное где-то там, в Москве или на Курильских острова».

Это именно то, о чём я постоянно твержу: большинство людей считают себя и свою жизнь неинтересной, они отказываются рассказывать о себе, они прячутся. А ведь именно человек интересен, не то, что он видел, а то, как он прожил и прочувствовал то, что видел. Чувства и мысли – вот что важно. Поступки – это внешнее, часто даже не имеющее значения, а вот внутренняя жизнь, которая всегда ярче, сокрыта от внешнего мира. Поступок – нередко результат глубокой внутренней борьбы с самим собой, поступок – результат сложного, иногда непостижимого духовного пути. Как же это может быть неинтересным?

Но все закрываются панцирем. Почему? Разговоры всё чаще о «посторонних» вещах, о пустом. Постоянно замечаю, как на серьёзный вопрос люди отвечают шуткой, стремясь с её помощью ускользнуть от разговора. Может, они боятся, что разговор разрушит их мир?

Раньше я носил в кармане блокнот и записывал интересные мысли, рождавшиеся во мне. Интересные они были чаще по форме, чем по сути. Возникали монологи и диалоги «просто так», не для конкретного сюжета. Это развлекало и увлекало меня. Я доставал из кармана блокнот и записывал туда мысли, чтобы они не ушли.

Сейчас не записываю. Вижу их, радуюсь им, но не удерживаю. С некоторой грустью наблюдаю за тем, как они медленно уходят прочь, в туман, в небытие. До какого-то момента их ещё можно удержать, вернуть, но если не сделать этого, то они уходят безвозвратно. Они напоминают мне обидевшихся друзей, от которых я отказался и тем самым совершил страшнейшее преступление. Они ждут, что я опомнюсь, потянусь к ним, обниму их, сделаю их моей неотъемлемой частью. Но я ничего не делаю, чтобы удержать их. Они рождаются во мне, а я предаю их, зная наверняка, что без меня они не выживут.

Станным образом устроен мой мозг. Читаю что-нибудь, натыкаюсь на какую-то фразу, и в голове начинает стремительно выстраиваться новый текст – мой текст. Если я не запишу его, то забуду быстро, но если начну записывать, то получится сразу несколько страниц. Эти страницы рождаются часто из пустой фразы, часто в ней и мысли-то нет. Это похоже на то, как человек спотыкается о небольшой камень, а потом кубарем летит долго вниз по склону... Однако дальше этих нескольких страниц ничего нет, потому что, наверное, не мысль лежала в основе, а некое сочленение слов, необязательное для того, чтобы из него, как из семени, выросло дерево. Я иногда перебираю листы, хранящиеся в разбухшем старом портфеле, и понимаю, что написать дальше нечего. Есть тексты, которые служат началом будущей повести или большой книги, но на это «будущее» у меня просто нет сил, а есть тексты без продолжения, много страниц без продолжения. Они обрываются так же внезапно, как были зачаты. Оргазм непонятно чего. Порыв, начатый чужими словами и ушедший, как вода уходит в песок.

Что же это за состояния?

Я часто расспрашивал раньше моих знакомых, которые рисовали, работали со словом, сочиняли музыку и т.д., расспрашивал о том, как в них зарождается «начало» творчества. Они огрызались. Они думали, что я расспрашиваю о технической стороне, а меня интересовала «биология» творческого процесса, она ведь наверняка у всех разная. Я по-своему пишу, по-своему слышу, по-своему вижу, по-своему желаю. Они все – по-другому. У каждого есть свой предбанник и своя кухня. Будь мы одинаковы, мы не создавали бы разного и не жили бы по-разному. Поделиться своим миром – это открыть путь к себе, позволить другому человеку сродниться, слиться с тобой.

Я никого не люблю... Вернее, люблю многих, мне хорошо среди людей, но я не люблю их так, как мне хотелось бы любить. Моё воображение сотворило такую любовь, какую не встречал никогда, и во мне тоже нет такой любви. Я ущербный, у меня не получается любить так, как мне хотелось бы. Не умею. Но если нет той любви, о какой я мечтаю, то может ли быть другая? И любовь ли это?

Мне не нужны сорванные цветы. Мне нужны цветы, трава и деревья, уходящие корнями в землю, ибо по ним струятся соки жизни. Их форма – лишь оболочка, милое обрамление невидимого содержания. Мне нужна не женщина, не её лицо, не её груди, не её промежность и тело вообще. Мне нужна жизнь, пульсирующая в ней, сладкое ощущение её жизни, головокружительное проникновение в это состояние. И только после этого – оболочка, куда помещена эта жизнь.

Самое важное в жизни – уметь сжигать мосты. И уметь возводить новые. Я не умею ни того, ни другого.

«Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остаётся ещё тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их? О, понимаешь... понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что всё прошлое забыто, рассеялось, как дым. Начать новую жизнь... Подскажи мне, как начать... с чего начать...» (Войницкий из «Дяди Вани»)

Я пытаюсь сбросить с души то немного, чем она покрыта.

Лохмотья обмана.

Я обнажаюсь всякий раз, когда начинаю разговор. Разговор по душам.

Сколько лжи в надетых масках! Сколько неправды в наших нарядах! Сколько скованности в наших надуманных движениях! Сколько растроченных сил в погоне соответствовать чему-то...

Дураков надо либо убивать, либо обходить далеко стороной. Второе проще, но первое – надёжнее.

Один край его жизни лежал в детстве, другой – в старости. Между ними раскинулось полотно, на котором оставили свои следы и пролитое вино, и пролитая кровь, и пролитые

слёзы. Что лежало за краями его жизни, он не помнил, хотя сердцем чувствовал, что знал это. Но если знал, но не помнил, это всё равно, что не знал. Где нет памяти, там нет знаний.

Осень была мутная, обёрнутая в туман и прохладу дождливого ветра.

Голые ноги женщины – это просто ноги. Но когда женщина облакает их в ажурные чулочки, они перестают быть ногами и превращаются в приманку, в крючок, предназначенный для мужчин. А ну-ка, которые здесь жадные до женского тела, бегом сюда! А мы вас потом по мордам, по мордам, да ещё кобелями обзовём!

Болото улиц, чавканье башмаков, грязная пена, приставшая к ногам. Ну как в таком натюрморте не увидеть беленькое платьице под светленьким зонтиком, выпорхнувшее из зарисованного шашечками такси?

Каждая книга появляется на свет каким-то особым образом. Не сюжет лежит в основе всего, не история, не строго выстроенный план. Поначалу появляется беспокойство, оно схоже с состоянием, которое испытываешь, когда что-то мешает в теле и никак не позволяет принять удобное положение – ни присесть, ни прилечь, хочется принять другую позу, но ничто не помогает, постоянно присутствует какая-то неуютность. Это продолжается не один день, иногда недели. Затем вдруг проявляется нечто относительно внятное по сравнению с прежним состоянием, будто приёмник выловил из хаоса шумов звуковую и визуальную волну, в которой, правда, всё вывернуто наизнанку и не поддаётся описанию, а изображение видно как сквозь сильно запотевшее стекло. Это не образ, а скорее дыра в пространстве, которое тянет к себе, хочет заглотить, утопить в себе. Начиная вслушиваться и всматриваться в это нечто, я пытаюсь сфокусироваться и оформить в слова мои переживания, вылепливая из непонятного то, что будет поддаваться хоть какому-то осмыслению. Хотя в действительности осмысление не так важно; гораздо ценнее эмоциональное состояние, которое само в конце концов толкнёт мысль в ту или иную сторону.

Разминаемая глина мыслеформ понемногу становится более осязаемой, приобретает плотность, очертания, в ней продавливаются пространства улиц и помещений, уплотняются сгустки человеческих фигур, но всё пока отдельно, само по себе – как сваленные в огромную кучу игрушки. Но это уже игрушки, а не сор. Это уже существа и предметы, которые вскоре могут ожить и двинуться куда-то по коридорам моего воображения. Приходится записывать страницу за страницей в черновик, зная, что это, возможно, никогда не найдёт своего окончательного воплощения, а останется только сгустками отдельных сцен, пришедших ко мне извне. Опыт показывает, что большинство из развернувшихся передо мной картин послужит только топливом для дальнейшей игры воображения, но не материалом, из которого будет строиться книга. Но мне нужно и то, и другое, поэтому я судорожно записываю. Картины настолько впечатляют, а от переполняющих меня чувств перехватывает дыхание, и мне хочется из каждой увиденной песчинки создать свою историю. Впрочем, это невозможно, потому что каждая из этих песчинок во много раз насыщеннее всей моей жизни, необъятнее, увлекательнее. Перед распахнувшимися дверями воображения я чувствую себя беспомощным. Величие и мощь пространства, куда меня впускают, чтобы я скупно пересказал мои переживания, подавляет. Но, подавляя и подчиняя, это пространство наполняет меня жаждой поделиться пережитым с другими. Эта жажда – единственное, что заставляет меня включиться в процесс творчества.

А потом вдруг я словно проваливаюсь в вязкую материю увиденного мира, прекращаю смотреть на него со стороны и делаюсь его частью. Он поглощает меня. Присутствия внутри какой-то сцены становится достаточно, чтобы я начал распутывать из неё клубок конкретной истории.

Понемногу, шаг за шагом, вздох за вздохом, иногда подолгу топчась на месте (когда ниточка подсказки натягивается предельно, если я отклоняюсь в ненужную сторону) или наоборот, едва успевая за каким-то персонажем... Бывает, что я долго варюсь в атмосфере одной из сцен, час за часом вдыхаю запахи того мира, сантиметр за сантиметром исследую раскинувшиеся вокруг меня тени, впитываю в себя звуки, чтобы точнее образом засвидетельствовать то, что я испытал. И кажется, что прожитое в эти часы выльется в нескончаемые страницы, а на деле получается всего несколько строк, небольшой абзац. Всякий раз удивляюсь: а где же всё то, что я видел и чувствовал?

Выходит, что процесс проживания всегда значительнее процесса воплощения. Поток сотворения в гораздо большей степени позволяет жить в каком-то ином мире, болеть там, страдать, радоваться, стремиться к чему-то – гораздо больше, чем рассказ об этом. Другая жизнь... Что же важнее? Воображение или его превращение в произведение? Почему многое из того, что было пережито в мире воображения, отбрасывается, хотя этот мир всегда «смонтирован» только из нужных сцен, в нём нет ничего лишнего, он даёт только необходимое. Но даже это, хорошо отобранное кем-то свыше, даже эта показанная мне «кинолента» чувств, ощущений и событий нужна, оказывается, для проживания этих плотно укомплектованных сцен, а не для пересказывания. Пересказывается в лучшем случае сотая часть увиденного и услышанного.

Сцены в основном пишутся подряд. Изредка какая-то глава или эпизод рождаются «не по порядку», запрыгивая вперёд, чтобы указать мне направление, в котором я должен двигаться. Используя их в качестве маяка, я иду туда, куда мне положено идти за моими персонажами.

Лишь где-то на середине сюжетной линии ко мне приходит понимание идеи, ради которой сооружается всё здание книги. И тогда наступает этап вживления в уже написанный текст дополнительных сцен, поддерживающих основную идею.

Словом, книга управляет мной.

Если же произведение пишется на заказ, то здесь всё обстоит проще и одновременно сложнее. Идея и тема заданы в самом начале. Остаётся только материализовать их. Но чтобы сделать это, нужно найти способ войти в мир этой идеи, нащупать какие-то свои рычаги, которые заведут мотор, приведут в движение всевозможные шестерёнки механизма, с помощью которого раздвинутся ворота моего воображения. Есть ли для этого у меня специальные наработанные приёмы? Нет. Только проживание чужой жизни. Имплантирование себя в чужую, порой противную моей природе систему координат. Приходится отождествлять себя с теми, о ком никогда даже не думал. Приходится мыслить, как мыслят они. И странное дело – я начинаю понимать этих людей, смотря на мир их глазами. Но всё же я не становлюсь ими. Связующая нить с их внутренним миром рвётся мгновенно, едва я ставлю заключительную точку.

Нередко случается, что я не могу войти в нужную дверь, и тогда эпизод заметно хромает. Я вижу, как волоком тащу себя через запланированную сцену, лишь бы преодолеть обязательное пространство. В чём-то это похоже на спортивное состязание, где я соревнуюсь сам с собой: который из меня одолеет – упёртый и наглый или служитель вдохновения? Такие ситуации бывают не только в заказных работах, но и в моих, изнутри рождённых книгах. В моих любимых мирах я не раз попадал в ситуацию, где огромные куски сюжетной линии были настолько неинтересны мне, что я торопился перепрыгнуть через них, чтобы поскорее окунуться в сцену, обещавшую мне блаженство ожидаемых переживаний. И я перепрыгивал, лишь схематично описывая пропущенные эпизоды. Но потом всё равно возвращался, чтобы механически, с усилием пройти этот эпизод, обработать его профессионально, без любви, без

трепета, без ожидания чуда. Но чудо иногда происходило, и я погружался в то, что мне прежде казалось неинтересным. Оказывается, и это возможно. Неинтересного нет. Мёртвого тоже нет. Всюду присутствует жизнь, и ею можно наслаждаться.

К профессиональной стороне дела относится и освоение документального материала. Он всегда открывает шлюзы, через которые обрушивается сметающий поток информации. Иногда хватаюсь за голову: всё кажется нужным, но нельзя использовать всё. Необходимо научиться брать минимум. Временами я грешу и вшиваю в ткань произведения то, что там неуместно. Но когда сверкнувшая песчинка какого-то факта очень нравится, я не в состоянии отказать себе в её использовании. Документального материала всегда так много, что после завершения работы он продолжает владеть мною, и меня долго не покидает желание сделать ещё что-то на ту же тему. Освоенный материал – как раскалённые угли под босыми ногами. Хочется двигаться в заданном направлении дальше и дальше, ибо велика сила инерции. От этой инерции надо избавиться сразу.

Не знаю, как работают другие писатели, насколько важно для них предварительное выстраивание схемы, насколько важно вдохновение. Наверное, у всех есть свои секреты, свои профессиональные приёмы, свой ритм. У меня есть только жизнь внутри творческого потока. Этот поток нередко лишает меня «настоящей» жизни, друзей, знакомых, коллег, родственников, потому что я теряю здешнее время, здешние связи. Всё, что находится «здесь», теряет свою значимость по сравнению с «там», потому что «там» находится мир, где я – Создатель Всего, а «здесь» я – всего лишь человек, называющийся писателем.

Мы цитируем обычно то, что совпадает с нашими взглядами. Или то, что просто очень красиво звучит. Никогда не цитируем то, что противоречит нашим мыслям, даже если это очень красиво. Мы озвучиваем себя чужими словами.

Вернуть себе зрение художника. Смотреть на мир восторженно.

Пушистой краской снега обведены сегодня деревья. Первый снег, мокрый снег, временный снег.

Воспоминания отличаются от мечтаний только тем, что они лежат на шкале времени по разные стороны от сегодняшнего дня. Они не материальны, они – только в голове, их не существует в действительности. Получается, что воспоминания можно выдумать.

Гамлет, Макбет, Отелло – это всё тени Шекспира, его бесчисленные призраки. У них разные лица. Стольких лиц не имел ни один человек на земле. Даже великий Цезарь не имел столько лиц – ни в мраморе, ни на сцене. А эти люди, извлечённые гусиным пером из чернильницы, сегодня живее любой подлинной истории. И все они – Шекспир. Никто не знает его настоящего лица, но все мы слышим его слова.

Люди не смотрят в глаза друг другу, разучились смотреть в глаза, привыкли общаться с телефонной трубкой, а не с человеком, приучились прислушиваться к телевизору, а не к человеку.

Работом собственных капризов становится тот, у кого есть возможность исполнить любое своё желание.

Человек совершенно незащищен перед агрессивным проявлением жизни, если он не готов ответить насилием на насилие.

Совість выдумали для того, чтобы ею можно было спекулировать и чтобы на ней хорошо зарабатывать.

Вокруг рождаются дети – отзвуки любви, отголоски радости и печали.
Вокруг умирают старики – свидетели времени и хранители никому ненужного опыта.
И всё это называется словом «жизнь».

Всех, у кого есть крылья, общество приколачивает к стене, как бабочек. Человечество не любит людей, умеющих возноситься над землёй. Оно любит таких людей только после их смерти. Так гораздо удобнее.

Кому не случилось пить напропалую несколько дней кряду, тот не знает, что такое счастье умиротворённого выхода из запойного состояния – мягкий туман, тотальное успокоение души, полное безразличие к прошлому и будущему, что бы там ни таилось.

Сегодня мало людей, которых я люблю. Любовь пробуждается на час или два, пока мы вместе, затем она растворяется где-то, перестаёт быть. Долгая, вечная любовь с неугасимым интересом – только к умершим, к их делам. Они ближе мне, чем кто-либо из живых, ближе даже, чем я сам себе. Они ближе живых, потому что меж нами никогда не случится никакой ссоры.

Схватывание рождающихся мыслей становится похоже на раскопки. Не уверен, что раньше было иначе, но кажется, что они сразу приходили ко мне, в готовом виде, сформированные, цельные. Конечно, такого не было, но так кажется. Возможно, раньше было достаточно чувственного уровня и легко можно было обойтись без точной мысли, над которой приходится работать долго и тщательно. Возможно, раньше не требовалась ясность?



Сейчас я всё чаще стараюсь «узнать» их, когда они приходят. Я ощущаю их присутствие, как собеседника в темноте, которого только слышу, но не вижу. Я разгребаю песок, под кото-

рым искомая плита с надписями. Вот уже видны её очертания, её можно трогать руками, чувствовать шершавую поверхность. Но это ещё не всё, не вижу деталей. Продолжаю расчищать до тех пор, пока не открывается вся картина, все трещины на поверхности, все изгибы буковок, все полутона рисунков. Теперь мысль открыта, мне удалось овладеть ею.

Но она не всегда открывается. Часто бывает, что песок проворнее меня и затягивает намеченное для раскопок место так скоро, что нельзя даже догадаться, в каком направлении идти, о чём вообще была мысль, не оставившая даже тени. Только чувство растерянности и досады на себя – какая преступная неловкость, какое ужасное ротозейство, какая непростительная невнимательность! Всегда кажется, что мысль не ускользнёт, если она явилась, но она всё чаще пользуется моей рассеянностью и оставляет меня с носом, словно насмехаясь и желая показать мне всю мою никчёмность как писателя и просто как собеседника. Я сам себе стал неинтересен и скучен.

Мир сошёл с ума.

Человек, в качестве политического протеста зашивающий себе рот, называет почему-то это творчеством, а себя – художником. Почему тогда взрыв атомной бомбы над Хиросимой – не творчество?

Так называемые «художники», устраивающие так называемые «performance» стучат себя в грудь и похваляются своей уникальностью, потому что никто больше не делает, как делают они. Их «творчество», говорят они, уникально.

Но расплавленная Хиросима тоже уникальна...

Неужели всё, что было в единственном экземпляре, можно выдавать за творчество?

Мир сошёл с ума.

Искусство терзают, убивают, вытравливают, заменяя его мусором, не имеющим ничего общего с творчеством. Какашки становятся объектом поклонения. Не восхищаться унитазами как арт-объектами, выставленными в зале «современного искусства», становится признаком дурного тона. Чем безвкуснее и примитивнее, тем моднее.

Высекаю искры памяти, но пламя не разгорается.

«Вчера я был в царстве теней. Как странно быть там, если бы вы знали. Там звуков нет, и нет красок. Там всё – земля, деревья, люди, вода, и воздух – окрашено в серый, однотонный цвет... Это не жизнь, а тень жизни, и это не движение, а беззвучная тень движения... Жутко смотреть на это движение теней, и только теней... Эта беззвучная серая жизнь в конце концов смущает и давит вас; кажется, что в ней есть какое-то предупреждение, полное неуловимого, но мрачного смысла...» (Максим Горький).

Размышляя над увиденным, Горький предрёк этому «изобретению, ввиду его поражающей оригинальности... широкое распространение», но, вместе с тем сделал и печальный вывод: «раньше, чем послужить науке и помочь совершенствованию людей, синематограф послужит Нижегородской ярмарке и поможет популяризации разврата». Горький заблуждался, конечно, говоря о серых красках и о беззвучных тенях. Он не умел, как и все в то время, увидеть будущее кинематографа. Но прав он в том, что кино не помогло совершенствованию людей, зато помогло популяризации разврата. Разврата во всём. И в первую очередь – в мышлении.

Кинематограф приучил людей следить за сюжетом, но не думать. Кино не предназначено для идей. Кино чересчур стремительно, чтобы позволять себе нести глубокие мысли.

Часто я замечаю во время киносеанса, как мои руки невольно поднимаются, чтобы удержать мгновение. Удержать не ради красивого изображения, а чтобы дать персонажу развить высказанную мысль. Но действие продолжает раскручиваться, увлекая зрителя в сюжетный водоворот, и брошенная вскользь мысль, которую я успел-таки выудить для себя, безвозвратно теряется в прозвучавшем на экране диалоге.

Мысль!

А ради чего ещё надо снимать фильмы и писать книги?

Мысль – вот единственное, что делает человека человеком. Облечённая в слово мысль! А крутящееся колесо событий, на которое авторы наматывают сюжет, предназначено для развлечения дворовых собак, залиvisto лающих на проезжающий велосипед.

Много раз спрашивал себя, зачем я пишу.

Раньше потребность была одна, теперь – другая. Сегодня я мало озабочен художественной стороной *моей* литературы. Мне просто не хочется исчезнуть без следа. Однажды я вернусь на эту планету и прочту тексты, написанные моей рукой. Я не догадаюсь, конечно, что это – мои истории и мои мысли, но я увижу человека, его жизнь, его окружение. Прочту всё так, как читаю сегодня пьесы чужих жизней. Я пишу, чтобы не исчезнуть. Дворцы исчезают, империи исчезают, люди исчезают, остаётся только литература, остаются письма, остаются тексты, через которые восстают империи и люди.

Сегодня был сон с музыкой. Или о музыке.

Я слушал Первый концерт Чайковского.

Я шёл по коридору какого-то гигантского круглого здания, и до меня доносился шум. Проходя мимо череды дверей, я вдруг понял, что это не совсем шум. Помните, как в фильме «Сталкер»? Сквозь стук паровозных колёс пробивается мелодия, но её трудно различить, она никак не угадывается, всё шум и шум.

Так и в моём сне. Музыка пробивалась, но никак не могла пробиться. Вокруг меня что-то невыносимо шумело, хотя источника этого шума я не мог понять.

Тогда я рванул первую дверь и увидел концертный зал. Огромный, необъятный. Видимо, он располагался внутри круглого здания, которое я обходил по коридору. В зале не было слушателей, там всюду сидели музыканты – море музыкантов. И звучала музыка Чайковского. Необыкновенный звук!

Когда я слышу музыку в моих снах, она всегда неземная. Даже самая простенькая мелодия звучит божественно. Она наполняет не только каждую клетку моего тела, но и каждый атом окружающего мира.

Я плохо помню, что было дальше, но позже я спустился каким-то образом вниз. Музыканты улыбались мне, кивали, некоторые приветствовали меня, помахивая смычками.

За дирижёрским пультом стоял голый человек. Он был плохо виден – как бы замутнён компьютерным спецэффектом. Он вытянул руки в стороны и был похож на крест. Только кисти рук мягко двигались, управляя музыкой. Музыка будто прилипала к его рукам, и он то надавливал на неё, то отпускал.

Я обошёл дирижёра вокруг и увидел, что по нему струится кровь. Он весь был покрыт кровью. Она вязко текла с его головы. И кровь была музыкой. Это не была музыка Чайковского, это не была тема Первого концерта, который наполнял воздух. Это была какая-то совсем другая музыка, ещё более торжественная и могучая. Но она необъяснимым образом соединялась с музыкой Чайковского.

Сон невозможно пересказать, никакие слова не помогут передать пережитое там, в его сказочных пространствах.

Но самое главное – я так и не смог разглядеть дирижёра. Пытаясь сфокусировать на нём взгляд, я не мог сделать этого, резкость не приходила. Он был как бы за мутным стеклом, однако когда он поднял на меня глаза, я их увидел ясно. И меня пробрала дрожь, потому что я увидел Иисуса.

В этот момент я проснулся. Комната вся качалась – это кружилась моя голова. Мне казалось, что тело взорвётся от кипевшей во мне музыки, от переизбытка чувств.

Долго не мог успокоиться.

Обида – это всегда проблема того, кто обижается. Нас никто не может обидеть, мы обижаемся сами. И вот что тут главное: обида никогда не приносит ничего положительного, это очень тяжёлый груз, от которого надо уметь поскорее избавиться. Но на практике получается, что большинство обидевшихся упиваются этим чувством и ведут мысленную или в полный голос войну против тех, кого считают своими обидчиками. Обида делает человека агрессивным и несчастным.

Умирать следует только для того, чтобы увидеть, много ли придёт людей на твои похороны и что будут говорить про тебя после твоей смерти. Но если в этом и заключён основной вопрос смерти, то зачем жить? Похороны – заключительный акт спектакля под названием «жизнь», но жизнь обычно выразительнее похорон, хотя случается и обратное.

Загадка бытия: разумные люди не могут сделать неразумных разумными, если говорить о массах. Увлечь толпу можно без особого труда, но сделать её разумной невозможно.



В прошлом я тратил слишком много сил, чтобы добиться чего-то. Теперь я не хочу добиваться ничего. Мне просто хорошо жить. Даже когда болею. Я просто живу. Никакой гонки. Никаких целей. Это ещё не совсем привычно, иногда я «пробуксовываю», наступая в дерьмо прошлых ошибок, но мне удаётся быстро привести себя в равновесие.

С жалостью смотрю на тех, кто продолжает «карабкаться вверх», потому что на самом деле нет никакого «верха», есть подпрыгивание на ровной поверхности бытия и цепляние за иллюзии.

В прошлом я тратил слишком много сил на ненужное.

У прошлого нет начала, у будущего нет конца. Если успеть перестроить своё мышление, то проблемы исчезнут навсегда.

Вчера вдруг почувствовал в себе золотистую волну, почудилось, что вот-вот начну рисовать. Волна огромная, широкая, как едва заметно вздыхающая поверхность моря. Я даже открыл файл: настолько сильно было ощущение готовности и нетерпения. Однако ничего не произошло, ничего хорошего не случилось, слова испуганно отхлынули, попрятались. И всё же я сидел, охваченный этим сладостным состоянием, почти негой, окружённый призраками, из которых обычно складываются картины. Сидел и наслаждался. Таинством, к которому посторонние не допускаются, хотя все двери распахнуты.

Утром всё исчезло. Ни следа. Никаких желаний.

Покой, о котором я давно мечтал. Он теперь почти ежедневно убаюкивает меня. Так легко без желаний и ожиданий. И так непривычно.

Новое качество самого себя. Новые корни начинают уходить вглубь того, чем я был раньше. Новые цветы могут распуститься, а могут и не распуститься.

В последние дни во мне поселилась тревога. Вечерами она поднимает голову, как кобра. Наступление темноты вселяет в меня беспокойство.

Чем лучше я чувствую себя физически, тем сильнее проявляются всевозможные тревоги и беспокойства.

Когда организм изнурён, во мне нет ни тени беспокойства, ни намёка на тревогу.

Когда организм сильно утомлён, когда он приближается к «линии смерти», он становится равнодушен к проблемам «живых», его не интересует завтрашний день. А крепкий организм – живой, в нём бурлят инстинкты самосохранения, он старается заглянуть вперёд, организовать там для себя дорогу и т. д.

Пишу ли я сейчас? И если пишу, то зачем? Возьмусь то за одно, то за другое, а потом снова возвращаюсь к первому и опять прыгаю ко второму, но всё урывками, всё будто не настоящему. Это не труд, а просто пометки или правки уже написанного. Процесс... Это уже не поиски нового, как было раньше, а осмысление прожитого... Процесс осмысления...

Жаль, что не горит больше во мне тот огонь, который казался вечным.

В меня всё чаще и осязаемее проникает вопрос «неужели?». Неужели всё и впрямь кончилось? Неужели никогда не повторится то, что было и что так волновало. Неужели всё только один раз – всё, которое клокотало в душе, обещало невероятное, открывало мир? Неужели теперь будет только известное и хорошо знакомое?

Жизнь означает отворение дверей и движение к новому. Но ведь новое не означает новую порцию соли или сахара в знакомое блюдо (хотя формально это будет уже новое блюдо). Новые сломанные кости в новой драке не означают новизну. Новый поцелуй не означает новизну поцелуя и новизну отношений. Всё это не есть продвижение, а лишь топтание на месте.

Если у меня есть проблема, то она состоит в том, что я верил в творчество. Даже не верил, а жил им. Оно было важнее всего. Любое творчество создаёт искусство. Творчество означает рост, даже если результатов творчества не видит никто. Человек по-настоящему творит только для себя, потому что творчество – это процесс познания себя, то есть познание жизни, потому что у человека нет никакой другой жизни, кроме собственной. Всякие люди появляются в нашей жизни, задерживаются, уходят или остаются навсегда, но у каждого из них своя жизнь. Понять надо себя, только потом можно понять всё остальное, ведь остальное отражает нас самих. Не по форме, но по сути.

А я будто перестал творить. И с этим что-то замедлилось во мне. Или остановилось.

Я знаю, что искусство важнее жизни, значительнее. Но жизнь первичнее, грубее, вульгарнее. Какая до ужаса неправильная «расстановка сил»! Но так есть. Необходимо творить, чтобы основа твоей жизни не потеряла смысл. Ведь смысл таится в творчестве, постоянном внутреннем росте, постоянном движении. Рисуя картины или готовя пряники, мы создаём себя. Это – часть огромного процесса другого творчества, которым занимается Кто-то или Что-то за пределами нашего понимания. Вся жизнь – произведение «чьего-то» творчества. И за этим творчеством тоже скрывается какая-то первичность, грубость и вульгарность, но – уже не человеческая, а божественная.

Мне хочется быть полезным в этом мире, но я, судя по всему, не очень осознаю, что я сам подразумеваю под словом «полезность». Полезным-то надо быть прежде всего для себя, открывать свои свойства и овладевать своими свойствами, тогда только можно приносить пользу другим людям. Мёртвый и беспомощный не бывают полезными.

Каждому из нас выделено так мало времени! Сначала казалось, что его бесконечно много, но с годами оно сжималось, каждая минута укорачивается, ускользает, подумать хорошенько не хватает времени. Глянь – а уже темно, уже глаза слипаются, голова, отяжелев, падает на подушку.

Что-то происходит со мной. Я становлюсь завистлив. Завидую режиссёрам, писателям, музыкантам, резчикам по дереву и слоновой кости, живописцам и графикам, танцорам, архитекторам, башмачникам, портным и многим другим, создавшим и создающим прекрасные вещи-произведения. Мне хочется, чтобы всё это сделал я, потому что всё, что мне нравится, это и есть я...

В конечном счёте это всё (и гораздо больше) создал я, но не я-человек, а я, который является частью Того Необъятного, что сотворяет всех нас и помещает свои замыслы, пьесы, игры, ноты, буквы, звуки в наши тела и сшивает ими наши судьбы. Но мне страшно хочется ощутить, как это происходит – одаривание всех нас роскошью, которая называется словом «жизнь»... В юности мне нравилось бродить по вечерним улицам, когда окна зажигались в домах. Я ходил и пытался ощутить все эти окна, все огни семейных очагов, все окружающие меня жизни. Мне просто необходимо было почувствовать весь мир сразу, испить из этой необъятной чаши. Но не удавалось. Такая роскошь непозволительна человеку. Зато позволено хотеть... Давно уже нет во мне этого чувства. Поэтому я завидую книгам и фильмам, которые понравились. Почему не я? Почему всё это не успел сделать я? Почему сладость этих слов, мыслей и чувств, выплеснувшихся в тех книгах, не прошла через моё тело, мои нервы, доставляя томительный, мучительный восторг рождения себя в других формах? Меня опередили...

Наверное, я здесь – на земле – в качестве наказания. Меня всю жизнь гнетёт невозможность быть целиком в одной капле воды и одновременно во всём океане сразу, быть в каждом

лице и каждом теле (я имею в виду форму, линии, рисунок, от которых порой дыхание перехватывает восторгом), невозможность быть вечно пьяным от наслаждения (не имеет значения причина наслаждения, она может быть во всём) ... Всё притупилось, давно притупилось.

Мне уже пятьдесят семь лет, и я только сейчас начинаю переставать (но ещё не перестал) бояться жизни. Я всегда любил жизнь, страстно любил. Порой меня охватывало головокружительное и удушающее отчаяние из-за того, что я не в силах проявить мою любовь, охватить ею весь мир. И одновременно я боялся жизни, потому что она угрожала злом, с которым я сталкивался часто. Зло не имеет лица, зло не имеет причины. Зло – это просто сила, противоположная любви. Любовь пропитывает мир с одной стороны, зло пропитывает с другой. Я боялся зла, потому что оно слепое, оно не имеет отношения ни к справедливости, ни к наказанию.

И вот я начинаю избавляться от этого страха. Наверное, это потому, что в моей жизни почти ничего не осталось такого, что я боялся бы потерять. В первую очередь не осталось надежд, которые могут не сбыться. Это уже некоторая определённая, если так можно сказать, это уже гарантия того, что впереди не будет обмана, не будет предательства. Нет надежд – нет их крушений. Во-вторых, я освободился от моего прошлого, оно перестало быть живой частью моей души, теперь оно просто набор фактов, о которых я могу вспоминать легко, без слёз, без нежности, без сожаления о безвозвратности тех дней. Я ведь всё время хотел, чтобы прошлое вернулось, потому что в нём было то хорошее, которого нет в нынешней жизни. То хорошее было намертво увязано с отрочеством и юностью, где так много разнообразной чувственной любви, всевозможных влечений и увлечений, так много ожиданий и мечтаний, так много неясных планов, так много нового. Ничего этого теперь нет в моей жизни, и так жить гораздо легче. Жаль только, что эта жизнь совсем не похожа на мою. Моя жизнь всё-таки осталась в прошлом. Мои миры остались в прошлом.

Я спрашиваю снова и снова: что я есть сегодня? Не о социальном статусе спрашиваю, не о моём месте в общественной жизни, а о моей душе. Зачем я живу, если я не жду ничего? А не жду потому, что впереди ничего нет. То есть там есть всё, что я уже освоил. Есть, конечно, смерть, она нова во всех своих качествах, даже если я рождаюсь в теле и умираю не один раз; она нова точно так же, как нова для каждого из нас, новорождённого, наша жизнь – мы заново осваиваем её качества, заново познаём, заново выбираем роль для себя. Однако я не жду смерти, её новизна абстрактна. Я скорее лелею надежду на то, что во мне откроются какие-то особые способности (хотя я над этим совсем не работаю) и я смогу что-то делать для людей.

Мне всегда хотелось быть полезным людям. Но раньше мне хотелось быть полезным, чтобы меня ценили, любили и уважали за это. А сейчас хочется быть полезным просто так, без всякой задней мысли. Хочется жить «не зря» – в этом я вижу смысл. Быть водой, которую пьёт жаждущий, быть тенью, где укроется уставший от раскалённого солнца, быть полезным... Однако я хорошо понимаю, что не обладаю качествами, которые требуются для того, чтобы быть полезным. Не обладаю требуемой силой.

Мне хотелось бы настолько сильным быть, чтобы своими руками мог переделывать мир...

Когда-то мне казалось, что именно этим я и занимаюсь, но позже выяснилось, что я ничего не переделал. Я жил во сне...

Время от времени я пытаюсь соскрести остатки моей силы для приведения в порядок накопившихся у меня текстов – всяческих набросков и незавершённых повестей. Меня хватает не на долго. Воодушевление и энтузиазм приходят вдруг и так же вдруг испаряются. Но я всё же трачу иногда часа два-три на «литературные труды» за клавиатурой. В прошлом году совсем не занимался этим из-за моей болезни, так что сегодня можно говорить о некотором прогрессе. Жаль будет оставить после себя мусор в блокнотах и тетрадях. Хочу напрячься и слепить из этого мусора книгу-другую.

Родительский дом

«Как усталый путник, потерявший в ненастье свой путь, опираясь на нехитрый посошок, он шёл от одного воспоминания к другому, греясь у одних, с опаской подходя к другим. Так, ведя учёт обидам, нанесённым и принятым, радостям, поделённым с людьми и утаённым от них, как лакомый кусок, съеденный тайком, проходил он всю ночь по ухабам прошлого».

Анна Неркаги

Моего отца привезли из Женевы в Москву на носилках, неподвижного, с закрытыми глазами, но совершенно спокойного внешне. Глядя на него, невозможно было сказать, что его истязала неугасимая боль в голове, что мозг был сдавлен опухолью, лишившей его возможности шевелиться. Его лицо ничуть не изменилось. Казалось, что он просто спал. Но его охватил, к сожалению, не сон.

Чекисты работали быстро, слаженно, без суеты, не привлекая внимания многочисленных пассажиров Шереметьева. Со стороны казалось, что обычные люди встречали больного человека. Никому из посторонних никогда не закралась бы мысль, что на каталке лежит профессиональный разведчик, в считанные дни превратившийся из громкоголосого и жизнелюбивого человека в молчаливую и неподвижную куклу.

Вокруг текла обычная жизнь, она пока ещё казалась мне прежней, нормальной, но дверь, через которую вывезли моего отца, уже приоткрыла разлом в иное пространство, где всё нарушено, всё обречено, всё несправедливо. Из этого пространства через некоторое время хлынет сила обречённости и сомнёт меня.

Судьба...

В Женеве, когда отец жаловался на головные боли, никто не подозревал, что в голове гнездилась непобедимая опухоль, расплзавшаяся по мозгу, как пролитые чернила по промокашке. Врач в советском представительстве уверенно заявила, что у моего отца было всего лишь осложнение после гриппа. Обследование в женевском госпитале также ничего не показало, что мне кажется странным.

Итак, отца провезли через отдельную дверь. Рядом с каталкой стояла моя мать, интересная, подтянутая женщина с яркими губами и густо накрашенными глазами. Она почти не обращала внимания на окружающих и бесцветно поздоровалась со мной: «Здравствуй, Андрюша». Я подошёл к отцу и робко взял его за руку. Рука не отозвалась, она показалась мне мягкой, словно сделанной из ваты. Отец слегка приоткрыл глаза и сделал губами: «Пф-ф-ф-ф...»

Страшно вспоминать этот звук, выпущенный сквозь сомкнутые губы. Этот звук не имел ничего общего с громким голосом и смехом жизнерадостного человека, каким я знал его. Я ничуть не испугался, увидев отца в таком состоянии. Я был уверен, что его болезнь, пусть и тяжёлая, пройдёт через самое короткое время. Я не допускал мысли о том, что отец мог остаться в таком неподвижном состоянии навсегда. Мой мир и моё представление о жизни не допускали такого. Отец просто заболел. На время. Так со многими случается. Люди болеют и выздоравливают. Болезни приходят, чтобы мы побеждали их.

Казалось, он узнал меня, но его рука не шевельнулась, осталась вялой. Подошедшие доктора ткнули его несколько раз в руку иголками, проверяя рефлексы. Отец никак не отреагировал. Ему было всё равно.

– Юрий Васильевич, вы нас слышите?

Он молчал. Он не отзывался на их вопросы. Поэтому я уверен, что меня он узнал. На моё появление он отозвался движением губ.

– Пф-ф-ф-ф...

– Юрий Васильевич, как вы?

Он молчал...

Через некоторое время мы уже мчались в машине.

– Вот как, оказывается, бывает, – произнесла вдруг мама, глядя в пол.

Она не сказала, что всё рухнуло, так как в то время никто из нас ещё не знал, что это конец. Её лицо сосредоточенно застыло.

Мы ехали в служебной машине, не отрываясь от мчавшейся впереди кареты «скорой помощи». Почему-то из всей поездки мне запомнилось пустынное пространство Манежной площади, разворот возле гостиницы «Москва» и выезд оттуда на улицу Горького.

В институте нейрохирургии имени Бурденко у отца сразу определили опухоль головного мозга в левой височной доле. На следующий день знаменитый хирург Коновалов (говорят, у него волшебные руки) приступил к операции.

Когда отец открыл глаза, врачи задали ему первый вопрос.

– Как вас зовут?

Он не должен был ничего ответить, потому что опухоль парализовала его речевой аппарат. Опухоль удалили, но никто не начинает говорить сразу после операции. И всё же отец ответил, но назвал почему-то чужую фамилию.

– Филиппов.

– Откуда вы? – продолжали расспрашивать врачи.

– Из Боровска.

Мне об этом сообщили сослуживцы отца, позвонив из «Леса», из штаб-квартиры Службы Внешней Разведки.

Мать смотрела на меня почти с ужасом.

– Откуда он взял эту фамилию? И почему Боровск? Что с ним случилось?

А товарищи из Ясенева не удивлялись, даже обрадовались.

– Какой молодец! – со сдержанным восторгом говорил мне голос в телефонной трубке. – Он же не знает, где он находится, не знает, куда попал. Открыл глаза, а вокруг чужие лица, незнакомое место. Решил схитрить! Только-только после наркоза, а сразу взял себя в руки. Ай да Юрий Васильевич!

Отматывая киноплёнку памяти к далёким дням детства, я удивляюсь себе.

Когда отец впервые сказал мне, что он работает в разведке, я не обратил на это внимания. Не то чтобы я не поверил ему – я привык ему верить, я верил, пожалуй, только ему, так как он никогда не обманывал меня – я просто не сумел осознать этого. Мне было тринадцать лет, я рос в тепличных условиях, и понятие «шпион» было для меня частью какого-то недостижимого, пусть и не вымышленного героического мира, но не имевшего ни малейшего отношения к действительности. Он заметил мою странную реакцию и принял её, как я думаю, за недоверие. Ведь любой нормальный мальчишка непременно пришёл бы в восхищение от такой информации. Отец – разведчик! Вот ведь удивительно! Вот ведь здорово! Но я, судя по всему, не отреагировал должным образом, и отца задело отсутствие восторга во мне. Моя реакция была слишком слабой.

Помню, в 1973 году мы ехали в поезде отдыхать в Крым. В купе не было посторонних, и отец показал мне своё служебное удостоверение (капитан Комитета Государственной Безопасности), чтобы я убедился в его честности.

– А ты не верил мне.

Он ошибался. Верить-то я верил, но сразу же выбросил из головы эту информацию. Я просто не понимал, о чём шла речь, поэтому и в тот раз в моей голове не отложилось, что

мой папа – офицер разведки. Согласно моим представлениям, разведчику полагалось гонять на автомобиле с пистолетом в руке, сигать с крыши на крышу, отрываясь от погони, прятать своё лицо под наклеенными усами и бородой да и вообще вести совершенно иной, таинственный образ жизни. Я видел фильмы про *настоящих шпионов*, а папа был обыкновенным человеком. Он ни от кого не прятался, каждое утро отправлялся на работу, как и все другие папы, мы, стоя у окна, махали ему рукой. Он обожал общество, всегда был душой компании, любил играть на баяне, курил трубку. Он не выделялся ничем особенным: залысина, тяжелеющий с годами живот, отсутствие стальных мышц.

– Некоторые из тех, кого ты знаешь, тоже там работают, – и отец поведал мне историю про одного нашего близкого знакомого, который много лет назад должен был угнать самолёт из Западной Германии. Он завербовал солдата из охраны военного аэродрома, но тот выдал его, и когда наш знакомый (назовём его Икс) пришёл в назначенное время на аэродром с ещё одним нашим товарищем, по ним открыли огонь из нескольких автоматов. Оба получили тяжёлые ранения, дальше их ждала больница, неприятности, дипломатические протесты и высылка на родину.

Я выслушал и выбросил из головы всё услышанное, потому что оно не имело отношения к моей жизни и слишком мало было похоже на правду. Я в то время много чем увлекался, часто влюблялся. Научиться делать сальто, прыгая с трамплина в бассейн, или подглядеть, что делается в женской раздевалке и приврать приятелям о том, что там увидел, – вот что имело смысл для меня-подростка. Мне было не до разведчиков, хотя фильмы про разведчиков я обожал.

Через два года после того знаменательного разговора с отцом я попал в интернат КГБ и там впервые услышал слово «чекисты», употреблённое по отношению к нашим родителям. Было 20 декабря. Нас, старшую группу школьников, пригласили в класс для торжественного собрания. Пришёл чей-то отец и выступил перед нами с небольшой речью, начав её так: «Вы, дети чекистов, должны помнить, какую ответственную работу выполняют ваши родители». Он говорил без высокопарности, без лозунгов, обыденно, не делился с нами приключенческими историями, не пытался увлечь нас или заинтриговать, но слова «дети чекистов» меня потрясли. Впервые в моей голове увязалась в одно ясное целое многолетняя история Советского Союза и жизнь моего отца (стало быть, также жизнь моей матери и моя собственная). Чекисты! Это слово вдруг сразу подвело под работу моего отца мощный фундамент. Одно слово расставило по своим местам всё, что оставалось для меня смутным раньше. Чекисты! Это революционные кожанки, маузеры в деревянных кобурах, ловля бандитов и прочее, прочее, прочее, от чего захватывало дух. Фильмы «Сотрудник ЧК» и «Адъютант его превосходительства», просмотренные в детстве не один раз, неожиданно приобрели новое качество. Кинематограф ожил. Персонажи, смотревшие на меня с чёрно-белого экрана, обрели плоть и кровь, вес и смысл. За ними тянулся шлейф героической истории, и в эту историю вплеталась, оказывается, история моей семьи.

Печально, что я осознал всё это через призму чужих слов. Получается, что я должен был услышать это от постороннего человека, чтобы понять, что такое «разведчик». А ведь Отец сам заговорил со мной об этом...

Чекисты! Как много таилось в этом слове! Для нас, подростков, оно было напитано духом романтики и героики. Кино и книги воспевали чекистов, слагали о них легенды. Это было торжественное слово, и наши отцы, оказывается, тоже были чекистами!

Только теперь я обратил внимание на бумагу с перечнем правил посещения, которая висела в узеньком коридоре дощатого сооружения, через которое мы проходили на территорию интерната. В заголовке присутствовали слова «комитет государственной безопасности». Получалось, что все окружающие меня интернатские ребята были детьми разведчиков, детьми чекистов, детьми никому неведомых героев. А у круглолицего Юрика Нуйкина, оказывается,

родители были нелегалы, жили в где-то Европе под чужими фамилиями, прикрывались чужим гражданством, говорили только на чужом языке! До меня вдруг дошло, что Юрик не видел родителей уже несколько лет, получал письма и подарки от них исключительно через куратора, а письма шли в Москву окольными путями, «заметая за собой следы». Его отец, Виталий Нуйкин, был расстрелян лишь в 2020 году, а мать, Людмила Нуйкина, по какой-то причине – тремя годами раньше.

Мы были самыми обыкновенными детьми, ничем не отличались от других. Не помню, чтобы кто-то из нас хоть раз говорил о работе наших родителей. Это нас не интересовало. Если мы упоминали КГБ, то лишь в анекдотах. Мы хулиганили, дрались, прогуливали школьные занятия, тайно хранили фотографии с голыми женщинами, брэнчали на гитарах, увлекались рок-музыкой, отращивали волосы подлиннее. В банный день мальчишки пытались подглядывать за девочками и карабкались по водосточной трубе на второй этаж, чтобы заглянуть в запотевшее окно. Один из парней сорвался оттуда и сломал обе ноги. Кое-кто уже в пятнадцать лет увлекся выпивкой. Ваня Бурлаков не раз попадался воспитателям в пьяном виде после посещения ближайшей пивной, иногда устраивал потасовки и был в конце концов отчислен из интерната. Говорят, что после школы он загремел в тюрьму. Стас Оболенцев тоже дрался, не в силах сдерживать свою страсть к боксу, и как-то вышиб все передние зубы парню из соседней школы. Повзрослев, он остепенился, превратился в крупного бизнесмена. Паша Тулаев (на год старше меня) стал известным историком. Олег Милицын надел военную форму, пошёл в офицеры.

Девочки. Галя Ашчьян, Аня Ермишина, Оля Максимова... Все разные... Сколько персонажей, сколько непохожих судеб!

– Вы, дети чекистов, должны помнить...

Мы – дети чекистов!

Моя голова шла кругом. Той осенью я впервые остался без родителей и попал в московскую школу, о которой не имел ни малейшего понятия. В Москве, столице СССР, царили совершенно чуждые мне нравы, варварские, жестокие. Я воспринял Москву как инородный мне город, моя родина казалась мне чужой страной.

Я вырос в Индии в тепличных условиях. В советской «колонии», в нашем так называемом Городке, не бывало драк между детьми. Если случалось кому-то из мальчишек схлестнуться, то родители быстренько надевали узду на своих буянов. В Москве же синяки и кровоподтёки оказались, как я быстро усвоил, делом не только привычным, но и само собой разумеющимся. Дрались прямо в школе, не страшась никаких наказаний, могли схватиться даже не в скрытом от посторонних глаз грязном туалете, а непосредственно перед входом в классную комнату, нанося удары тяжёлыми жёлтыми пряжками хлётких кожаных ремней. Когда я впервые увидел, как ребята лупят друг друга ремнями, сгрудившись на лестничной клетке, я остолбенел, не мог поверить, что такое может происходить в действительности.

Рассказывают, что в Приюте (так мы называли наш интернат) тоже было принято драться – «утюжить» новичков в знак «гостеприимства». Не знаю, как именно их обрабатывали, может быть, пропускали сквозь строй, может быть, заставляли новичка драться с самым сильным, обрекая на проигрыш. Мне посчастливилось не пригубить той чаши, и причин я не знаю. Когда я уходил из интерната, воспитатели рассказывали моей матери, что я завоевал признание ребят тем, что умел рисовать. Сейчас меня это удивляет: неужели умение рисовать может кому-то казаться недостижимым искусством? Впрочем, если это так, то вполне возможно, что мои способности показались ребятам своего рода волшебством (как для дикарей). Однажды я придумал забаву: рисовал карандашом картинки, в которые помещал вырезанные из фотокарточек лица ребят. Карандашом я работал так, чтобы штрихи абсолютно точно соответствовали яркости и тону фотографии, дабы между фото и рисунком не различались границы. Это нравилось настолько, что мне даже поступали иногда заказы на тот или иной сюжет, в котором они хотели бы увидеть себя. Может, это и было то, о чём говорили воспитатели?

Повторяю, что я не знаю причины, по которой меня не тронули, но как бы то ни было, в Приюте меня не поколотили ни разу. Я полагаю, что в то время изменились нравы старшеклассников, поэтому новичков перестали бить. Впрочем, столкновения случались, я видел несколько раз, как на кулаках выясняли отношения. А некоторых ребят колотили «просто так». Годы спустя Володя Сидоров признался мне через много лет, что его били постоянно, хотя я этого не видел. Вся его вина состояла в том, что он учился играть на скрипке. Мы все мечтали бренчать на гитаре, а он играл на скрипке.

Той же осенью я впервые увидел по телевизору сериал «Семнадцать мгновений весны»: фильм о советском разведчике, проникшем в самое сердце гитлеровской службы безопасности и служившем там под именем Штирлиц. Когда показывали этот фильм, улицы Москвы пустели, все притикали к телеэкранам. Невозможно передать всю глубину охвативших меня переживаний. Прежде я не видел ничего подобного. Тяжесть работы, которую выполнял Штирлиц, придавила меня. Невольно я стал ощущать, что мой отец, хоть и не работавший нелегалом, выполнял столь же трудные задания, как и герой этого телевизионного фильма. И родители всех окружавших меня мальчишек и девчонок тоже. Глядя на Вячеслава Тихонова, исполнявшего главную роль, и слушая песню «Мгновения», я едва не плакал. Чувства переполняли меня, однако поделиться ими я не осмелился ни с кем, побоявшись, что буду причислен к категории «хлюпиков».

Кто бы мог подумать, что через много лет после этого я сам попаду в разведшколу и увижу собственными глазами «кухню», где готовят «шпионов»? Увижу, вдохну запах этой профессии и подам рапорт об увольнении.

Моего отца звали Юрий Васильевич, но для большинства друзей он был просто Юрвас.

Василий, его отец, то есть мой родной дед, погиб на фронте. Среди старых бумаг и фотографий я нашёл аккуратно сложенное и обветшавшее на складках письмо с фронта, написанное медсестрой, адресованное моей бабке и сообщавшее о смерти моего деда. Простенькое письмо, бесхитрое, но такое важное, такое весомое.

«Здравствуйте, уважаемая Галя. Простите, что я так вас называю, я не знаю вашего полного имени. Это имя я нашла написанное на фотокарточке и решила вас так называть. Я вам хочу сообщить, что ваш муж в одной из крупных операций был ранен в живот с повреждением толстого кишечника. Хирургическая операция длилась более двух часов и закончилась благополучно, после чего больной жил четыре дня. Но, видно, болезнь сильнее всех оказалась и взяла верх себя... в пять часов... мая 1943 (уголок письма с точной датой оторван) ваш муж скончался. Я представляю, как тяжела для вас утрата. Мне тяжело писать об этом, но я считаю своим долгом сообщить вам об этом. Вместе с небольшой запиской отсылаю вам фотокарточки, найденные у него. Деньги в сумме 345 рублей я вам послала по почте. Писала медсестра Зина Самойлова. Сообщите мне, что получили вы письмо и деньги».

Есть и другое письмо от этой медсестры; конверт из обычного тетрадного листка в клетку сложен треугольничком, украшен тремя круглыми почтовыми штемпелями и квадратной печатью «ПРОСМОТРЕНО Военной Цензурой, 15».

«Здравствуйте, дорогая и уважаемая Галина Николаевна! Сегодня вместе с вашим письмом получила ещё два таких письма. Все они почти одного содержания. После каждого больного, пролежавшего в моей палате и умершего на моих руках, я сообщаю по адресу, хотя такие вести для дома не совсем приятные, но если родственники не будут получать от них письма, то будет гораздо тяжелее. Поэтому я сразу сообщаю об полной утрате. Это не потому я пишу, что долг этим заниматься. Я пишу потому, что понимаю, в каком положении остаётся семья, и сочувствую все её трудности. На днях я получила письмо с фронта, в котором мне сообщили, что умер от тяжёлого ранения мой брат. И я в лице моего брата представляю каждого

больного, попавшего на моё лечение. Я делаю самую почётную работу, помогаю людям вернуться к жизни, но когда бывают такие случаи, когда умирают люди, бывает очень тяжело смотреть на это зрелище. Я глубоко сочувствую вам, уважаемая Галина Николаевна, утрата в вашей дружной семье очень отразится на вашу жизнь, а тем более на будущность вашего сына. Пишите мне, я вам с удовольствием буду отвечать на все заданные вопросы. Спасибо за приглашение в гости. Я сама москвичка и после окончания войны, безусловно, к вам зайду и поделимся вместе мыслями. До свидания! Дорогая Галина Николаевна, привет вашему сыну Юрику и мамаше вашей. С горячим дружеским приветом Зина. 8.6.43».

Меня поразила мысль, что эта медсестра, возможно, жила удивительной жизнью, переписываясь с родственниками своих погибших подопечных. Возможно, после войны она встречалась с жёнами, сёстрами и детьми тех солдат, которые скончались на её глазах, и была для многих людей единственной связующей нитью между живыми и мёртвыми – нитью, которую может ощутить лишь тот, кто прошёл через горе таких утрат.

Среди старых писем я нашёл также свёрнутую крохотным конвертиком бумагу, в которой хранилась (и хранится до сих пор) фиалка; на бумаге карандашная надпись, сделанная рукой моей бабушки Гали: «Фиалочки, которые Васенька прислал с фронта». Ничего больше у меня от деда, а у Юрваса от отца, не осталось, кроме нескольких потрескавшихся фотографий.

Впрочем, я вру. От деда Василия сохранилась также бумага, которая называется «Выпись из метрической книги» (за 1908 год) – большой сложенный вдвое листок, старинный шрифт, выцветшие чернила, неразборчивый крупный почерк.

Моя бабушка Галя (мать Юрваса) работала школьной учительницей. Я хорошо помню здание старой школы из красного кирпича, где она работала. Как-то раз отец провёл меня по местам своего детства, по закоулкам юности, показал школу и дом. Школа продолжает стоять, а вот дом теперь разрушен. Когда-то тот район назывался Лихоборы.

Юрвас, несмотря на то, что мама его была учительницей, читал мало, рос на улице, тесно соприкасался со шпаной, дрался, мастерил так называемые «самопалы» (самодельные пистолеты), с которыми наиболее суровые представители шпаны не расставались никогда. Драться он умел, обучившись этому делу в боксёрской школе, но выяснять отношения на кулаках не любил, как сам признавался мне потом. Он говорил, что именно умение пользоваться кулаками нередко подводило его, вселяло излишнюю самоуверенность, заставляло ввязываться в потасовки, в которые ввязываться было нельзя.

Иногда, уже в дни моего отрочества, Юрвас вдруг начинал напевать какую-нибудь бластную песню.

– Откуда ты знаешь такие песни? – всякий раз удивлялся я.

– Эх, Андрюха, – улыбался он, – сколько я этих песен знал раньше! Надо тебе слова надиктовать при случае. А то ведь нынче их нигде не услышишь, канут со мной...

Но не надиктовал, как-то всё не складывалось. Да я и не спрашивал про них, ведь эти песни мне не были нужны. Думаю, что Юрвас на самом деле не вспомнил бы целиком ни одной из них, это он просто чуть-чуть рисовался. Ему хотелось выглядеть в моих глазах немного не таким, какими были остальные дипломаты. Он мечтал о дружественности во всём и со всеми. Вопреки своей профессии, требующей холодности, он был открытым человеком и любил людей. Этим он разительно отличался от моей матери: она не любила людей и не верила никому никогда.

Общение со шпаной наложило сильный отпечаток на характер Юрваса. Впрочем, со шпаной общалось подавляющее число ребят военного и послевоенного времени. Шпану, по сути дела, составляли все ребята. Шпана обитала всюду, в каждом дворе, в каждой подворотне. Наверное, только дети очень высокопоставленных родителей не соприкасались со шпаной, учась в отельных школах и разъезжая по Москве в служебных автомобилях. В стране была разруха, нищета, люди пытались выжить всеми доступными способами, и мальчишки не были

исключением. Ворovali, если подворачивался случай, делали самопалы (подобие самодельных пистолетов), и дрались, зажав в кулаке медный «пятак», чтобы удар был сильнее.

И всё же Юрвас вырвался из объятий улицы, чему немало поспособствовала его мать. В то время многие мечтали стать лётчиками, ибо эту героическую профессию овеивала романтика. Моя бабушка Галя поначалу не противилась тому, чтобы её сын пошёл в лётную школу. Об этом периоде жизни Юрваса я почти ничего не знаю. Сохранилось свидетельство (№137), которое гласит, что мой отец «окончил курс первоначального обучения на самолёте ПО-2 и получил звание пилота, без отрыва от производства при Московском Аэроклубе, сдал государственные зачёты с оценкой по лётной практике (четыре) по теории (четыре)». Юрвас утверждал, что после аэроклуба ему стали видеться сны, в которых он простирали руки в стороны и поднимался над землёй, как птица. Сохранилась блёклая фотография, на которой отец запечатлён в толстом комбинезоне и кожаном шлеме с опущенными ушами. Фотография – странная штука. Вглядываешься в неё, и кажется, что вот-вот откроется перед тобой некая тайна, скрытая за границами фотоснимка. Смотришь, смотришь, погружаешься в другое время, почти слышишь звуки, принадлежащие той эпохе, но тайна всё-таки не открывается, границы фотографии остаются неизменными.

Отец не раз говорил мне, что самое будоражащее и почти волшебное чувство он испытывал во время отрыва самолёта от земли: «Это невозможно передать. Всё вдруг начинает удаляться, всё меняется, делается игрушечным. И ты летишь! Летишь! И управляешь полётом! Ты можешь летать! Пусть при помощи сложного аппарата, но ты, сидя за штурвалом, летишь всё-таки сам! Вот где настоящий восторг. Нет ничего лучше»... Авиационная эпопея кончилась быстро. Его мать уговаривала Юрваса уйти, протестовала, умоляла, устраивала истерики: «Ты непременно разобьёшься! Все лётчики рано или поздно бьются!». В конце концов она вынудила сына оставить лётную школу.

Он ушёл из аэроклуба и поступил в МВТУ имени Баумана.

Вскоре после смерти моего деда Василия бабушка вышла замуж за Адама Григорьевича Лосева, который нежно полюбил Юрваса. Мой отец отвечал ему взаимностью и называл папой. Я же называл его дедом, как настоящего, кровного моего деда. Когда отец впервые сказал мне, что деда Адик (Адам Григорьевич) ему не настоящий отец, я пропустил эту информацию мимо ушей, настолько она не имела никакого значения для меня. Дедушка Адик был для меня моим настоящим дедом.

Потом бабушка умерла. Мне было всего четыре года, поэтому я ничего не помню ни о её смерти, ни о её жизни. Её смерти для меня просто не было. Бабка осталась для меня только в словосочетании «баба Галя».

Много позже я узнал, что она покончила с собой, прыгнув под поезд. Причины мне неизвестны. Думаю, что и Юрвас не знал о них ничего толком. Иногда он говорил, что она закатывала Адаму Григорьевичу (отчиму Юрваса) страшные истерики. Может быть, она была ревнивой? Или у неё были проблемы с нервами, с головой? Адам Григорьевич написал 24 марта 1963 года Юрвасу: «Мама заболела и, видимо, серьёзно. Напиши, когда будешь в Москве. Это нужно знать как можно быстрее». Отец в то время ездил в краткосрочную командировку в Болгарию. В 1964 году бабушки не стало.

Юрвас всегда помнил о том, какой была её смерть. И помнил, что ей было пятьдесят лет. Это настолько упрочилось в его памяти, что он боялся пятидесятилетнего рубежа. И ещё он предупреждал, чтобы его ни в коем случае не хоронили в могиле матери. Он был атеист, но мать-самоубийца, пусть даже давно превратившаяся в прах, пугала его. Он настаивал на том, чтобы его положили в могилу его бабки, то есть моей прабабки. Он скончался в пятьдесят один год. Случайность ли это? Или же он настолько смог внушить себе, что этот возраст был для него роковым?

Когда он попал на службу в КГБ, он не упомянул о том, как оборвалась жизнь его матери. Он не без оснований полагал, что такая информация могла бы отрицательно сказаться на его характеристике: кандидат проходит тщательную проверку и может быть «отсеян» по самым незначительным причинам. Меня, например, проверяли более полугодом, когда я готовился к поступлению в КАИ, хотя я был сыном чекиста, из «надёжной» семьи, из «своих» и получил рекомендацию «с самого верха». Впрочем, в серьёзности отбора нет ничего удивительного.

Однако вернусь к моей бабушке и последствиям её гибели. После смерти Юрваса его коллегам пришлось заниматься документами на её могилу.

Дело в том, что не только он не хотел, чтобы его хоронили в могиле матери, не только он боялся лежать вместе с самоубийцей. Адам Григорьевич тоже боялся этого и берёт могилу моей прабабушки для себя. Поэтому, когда потребовались бумаги на её могилу, Адам Григорьевич поспешил сказать, что ему не удалось найти их. Тогда к нему пришли люди с работы отца и быстренько отыскивали необходимые документы. Надо полагать, что он был немало перепуган, когда в его крохотную квартиру вторглись комитетчики и принялись рыться на полках и в ящиках. Не знаю, как выглядели эти недолгие поиски, но хорошо представляю чувства человека, из памяти которого не успели изгладиться годы сталинского режима и к которому приходят фактически с обыском сотрудники столь серьёзного ведомства. Пусть не с обыском, пусть ничем не угрожая, пусть без хамства, но его наверняка пугал и унижал сам факт присутствия гэбэшников в крохотной квартире и унижительная процедура «прочёсывания» ящиков стола и шкафов...

Именно этот инцидент положил конец нашим отношениям. Дед почему-то озлобился и на меня. Может быть, не на меня, а на мою мать. Или не озлобился, а просто затаился внутри себя, сжался в комок. Как-то я привёз ему большую бутылку водки и что-то из папиных вещей на память. Дед посидел со мной за столом, а затем и спросил с какой-то нескрываемой злобой.

– Ну, что тебе надо?

Почему-то он решил, что я приехал не просто так.

– Ничего не надо.

Мне ничего не было от него нужно, и его вопрос так и остался для меня непонятным, бессмысленным, обидным. Я больше не звонил ему, и мы не общались много лет. Сегодня мне горько думать, что я не «переломил» себя и не сделал попытку пойти на контакт с ним. Я твёрдо знаю, что он не стал бы упрямиться, принял бы меня радостно. Теперь знаю наверняка, потому что летом 2003 года он позвонил мне и слабым, неузнаваемым голосом произнёс: «Андрюша? Это Адам Григорьевич. Приезжай ко мне. Нам надо поговорить». Он назвался по имени и отчеству, а не так, как делал раньше – деда Адик...

Я приехал к нему, взяв с собой жену. Признаюсь, одному мне ехать было боязно. Не могу объяснить причины, не понимаю того страха, но что-то тревожило (в том числе и возможность его смерти во время моего визита). Поэтому я попросил жену поехать со мной. Когда Адам Григорьевич отпер дверь, я поразился его облику: похудел, иссох, полностью облысел. Он плохо ходил, но от помощи отказался и пошёл по коридору, держась за стену.

– Я сам, сам! – Он всегда был по-напускному строг и в этом не изменился.

Сначала, увидев меня, он протянул мне руку для пожатия, как на официальной встрече! Я же в ответ привлек его к груди и поцеловал его. Быть может, за всё время после смерти моего отца я ни разу не испытывал такого сладкого чувства родства, как в тот момент. И дед тут же оттаял, заговорив с нами, как будто между нами не пролегло двадцать лет разлуки. Он с трудом передвигался, и глядеть на него было больно, однако он не позволил нам включить плиту, нарезать колбасу, вскрыть консервы.

– Я сам, сам...

Заготовил он для нашей встречи уйму всякой всячины: красная икра, водка, всевозможные копчёности! Но главное – он отложил все имевшиеся у него немногие фотокарточки моей

бабушки Гали. На одном снимке она выглядит настоящей голливудской звездой сороковых годов. И ещё он дал нам денег.

– Вот я для вас отложил, – сказал он, порывшись на полке с бельём, и достал конверт, на котором было написано: «Андрюше».

– Я знаю, что делаю! – воскликнул он скрипучим голосом, когда я попытался вежливо возразить. – Мне пора умирать. Я всё рассчитал. Пусть это будет вам маленьким подспорьем. Мне уже ни к чему.

И я вдруг ясно ощутил, что он и впрямь умрёт в ближайшие месяцы, а то и дни. Он готов был умереть. От него пахло старостью и смертью. Он спокойно собирался в путь. Ничто не держало его здесь, кроме, возможно, узелка нашей нелепой и бессмысленной размолвки, и он хотел развязать этот узелок.

Мы сидели и долго разговаривали. Он рассказал о своей матери и бабушке. После революции 1917 года, во времена коллективизации его бабушка приехала из другой деревни, чтобы жить с ним и его мамой. Она привезла с собой на телеге самое ценное, что у неё было: гроб и две книги – поваренную и историю императорской семьи. Книги были огромные и с красивыми иллюстрациями, по этим двум книгам Адам Григорьевич учился читать. Колхозных детишек брали в школы, а детей крестьян-одиночек не принимали в школу. Дедушка очень хотел учиться и несколько раз отправлял свою маму узнать, как это можно сделать. Им объяснили, что надо вступить в колхоз, чтобы ребёнка взяли в школу. Но чтобы вступить в колхоз, нужно было отдать свою корову и амбар с зерном. Бабушка противилась, однако мать уступила просьбам сына. Так дедушка попал в школу. Колхозная жизнь принесла в их семью голод...

Он всё просил, чтобы мы ещё по рюмочке выпили, ещё и ещё. Настаивал, даже требовал, чтобы мы кушали всё, что он заготовил для встречи (мы не могли одолеть и пятой части угощений). Он говорил и говорил, вспоминая о своей жизни и о жизни Советского Союза, о своей работе на железной дороге. Он ничего и никого не ругал, а про мою бабушку сказал: «Она была лучшей учительницей. Таких больше не найти. Ты должен гордиться ею». И подарил мне орден, которым она была награждена.

К сожалению, я, перегруженный эмоциями, позабыл большую часть из того, что рассказал дед. Мне казалось, что из моей памяти не выпадет ничто – настолько выразительными были его простые слова, его слабый голос, его полупризрачный облик, но оказалось, что забыть легко.

– Вот приходите ко мне двадцать четвёртого декабря, – сказал дед. – Посидим, помянем Юру.

До этой даты он не дожил нескольких дней.

Однако я тороплюсь и забегаю вперёд...

Пока ещё Юрвас не служит в разведке. Эта работа ждёт его впереди.

Из его автобиографии: «В 1939 году я поступил в 1-й класс, в 1950 году окончил 10 классов средней школы №1 Московско-окружной ж.д. и поступил на Механический факультет Московского Высшего Технического Училища им. Баумана. В 1956 году по окончании училища был направлен на предприятие п/я 4218, где работал инженером и старшим инженером-конструктором. В 1960 году был зачислен во Всероссийскую Академию Внешней Торговли, по окончании которой (1963) работал старшим инженером В/О „Медэкспорт“».

Работая в «почтовом ящике» (п/я 4218), он получил несколько авторских свидетельств на изобретение «в соответствии с приложенным описанием по заявке №...» На обратной стороне одного из свидетельств написано: «Вознаграждение выплачено в сумме 550 рублей. Мне он рассказывал, что они разрабатывали всякие взрыватели и что это время было самым счастливым в его жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.